

МАРИНА НЕОТЦВЕТАЕВА

Елабуга так же, как и Астахово, теперь уже точка не только на географической, но и на литературной карте.

Случайные точки? Их можно было бы посчитать случайными, если бы не был богом-изобретателем...

О где-то затерянное селенье в моей Андалу'сии слезной!

(Гарсия Лорка в конгениальном переводе Марины Цветаевой)

Попадая в тон, хочется воскликнуть: о где-то утерянная могила в далекой Елабуге слезной! Когда-то утеряли и могилу Баха, но потом (очень потом!) нашли. Эту не найти уже никогда. Следы зримые остервенело уничтожены судьбой. "Моим стихам будет хорошо", – пророчески написала когда-то Цветаева. Ее властная страсть, ее порыв к добру, ее "образцовые и сжатые" стихи – все осталось нам, с нами. Она ушла, преподав нам одни из дейвейнейших уроков мужества и отваги. Все созданное ею она оставила России. Все созданное ею Россия принесла в дар мировой поэзии.

Женщины-поэты рождаются во всех уголках земли. Равные по силе таланта лучшим поэтам-мужчинам – есть не у всех народов. Густотой мыслительного напора она превосходила многих поэтов-мужчин. Даже иной философ покажется пуст рядом с этим ее мыслительным напором. Вот почему имя ей – Поэт. Вот почему имя ей – Пророк. И вот почему время ее только еще начинается. Столетие со дня рождения стало бы ее триумфом, если бы (как всегда на ее пути) не смутные времена. И все-таки ровное, несмутное бессмертие уже наступило. То, которое заставляет забыть, что перед нами женщина-поэт. Вершиной средневековой японской литературы является книга, написанная женщиной. Кто, кроме комментаторов и литературоведов сегодня помнит об этом. Создания человеческого духа не знают физиологических барьеров, поток культуры не знает пола, и дочерям человеческим есть что сказать миру. Она была не первой из тех, кто поколебал приоритет сильного пола в его святой святых – творчестве. Но она была одной из тех, кто поколебал эти устои основательно. После нее нужно снова завоевывать высоты. А это, видит Бог, нелегко. Очевидно, мы будем последним поколением, которое говорит о ней как о женщине-поэте. Следующие поколения нас уже не поймут. Окидывая взором поэзию XX века, они произнесут – Блок,

Киплинг, Тагор, Маяковский, Рильке, Цветаева, Мачадо, Лорка, Есенин, Элиот...

Мать Марины мечтала о сыне. Природа однако не дала.

Не дала? А Марина Цветаева – не больше ли всех сыновей? Великий поэт. Какой сын был бы больше?

Сокровенное желание, не осуществившись в яви, осуществилось на тайном плане и потому, как всегда, наиболее полно. Бог дал безмерно больше, чем могла бы мечтать Мария Александровна Мейн. Мечтанное осуществилось. Но Бог дал иначе. Ему, конечно, виднее. Не спеши, человек! Не делай скоропалительных выводов. “Всё будет так, даже если будет не так” (восточное). По жажде вашей воздастся вам? Не по любой жажде, а только по праведной. Воздаяние Господа всегда единственно в своем роде.

Мать вложила в дочь не просто могучий неукротимый дух, но и всё могущество безнадежности. Это не просто генетика, но еще и некие огромные, я бы сказала, геологические потенции. А, вложив, получила редкую отдачу: страницы о матери, созданные Мариной Цветаевой, аналогов в мировой литературе почти не имеют. Прожив короткую страдательную жизнь, Мария Александровна Мейн удостоилась редкого бессмертия.

Писать о ней после ее словесных формул не просто трудно – почти невозможно. Любая ее строчка просится в заголовок. И любая – безмерная тема для размышлений. Мыслей у нее самой – тьма. Мыслей о ней самой рождается такая же тьма. И если записать все, – не только что статья – книга, и та будет пухлая. Цветаева одна может прокормить несколько сотен литературоведов. и еще останется для следующих поколений исследователей. Ее редкий формулировочный дар (у нее, как у Маяковского и Киплинга, по-моему, особенно редкий) сказался и в том, что она умела назвать каждую созданную ею вещь кинжально. А это верный знак того, что вещи она тоже видела кинжально. Столь же прицельно называла она свои книги. Примеры общеизвестны. Вот, скажем, “После России” (книга, изданная в эмиграции). Звучит горестно, безнадежно. Читается как – “После жизни”. Можно назвать сборник “Боль”, “Крик” – и впечатление будет во сто раз слабее. В “После России” больше этой боли и тоски, чем во всех прочих названиях и заголовках. Умей назвать написанное, художник!

кинжальное изречение, формулировочный дар. В старину и в древности люди с таким даром создавали священные книги. Формула фразы – это особая нетленка. Один из примеров: крохотные четыре канонических Евангелия, а конца цитированию не видно. и никогда не наступит.

Ее поэзия — потрясение не только мыслительное, но и нравственное. Такой душевной шири — поди поищи! “Я жажду сразу всех дорог”. У нее просто потребность одарять других. Она не только щедро, но, я бы сказала, непререкаемо одаряла других даром своего державного пера. Это шло у нее от собственного внутреннего богатства. Нерасчетлива, как юноша. А юность всегда богата. Как все великие, она понимала, что черный день — не тот, когда нечего будет тратить на себя, а когда нечего будет дарить. Но разве можно представить себе, что ей когда-нибудь нечем будет одарить другого? Тысячелетиями не истощается почва вокруг бывших гигантских извержений. Мы все живем тем огнем, который пробудился однажды. А когда он клокотал, он все озарял вокруг.

Кто оказался достоин ее из тех, кого одарила она беспримерным ударом своего отважного сердца? Она-то одаривала, а кто одарил ее?

Здесь я умолкаю и опускаю глаза. Ну, может быть, два-три таких же болящих сердца. Макс Волошин и Андрей Белый. А остальные? пустыня душевная.

Правда, она не ждала никакого отклика, она бы даже бурно протестовала против него. Как все сильные люди. Но мы, из своей дали, уже можем всё взвесить и всё сопоставить. И какая “сдержанность” порой открывается там, где она всего не уместнее...

Ну что ж, в который раз за человеческую историю горько поражаемся мы величию одинокой души. И в который раз склоняемся перед этим величием, благословляем его.

Все проходит: царства и пески пустыни, только не порыв человеческого сердца.

И все написанное ею о других (особенно в ее прозе, которая у нее не просто проза поэта, а какой-то совсем отдельный беспрецедентный жанр) теперь правильно ложится в свою единственную борозду — как благодетельно время! Все щедрые слова о них становятся ее автопортретом, а они, многие из ее героев, отходят на второй план, становятся просто объектом, случайным, почти необязательным поводом для ее великой речи, а значит и великого знания. “Коль вам дано провидеть сев времен...” (Шекспир). А ведь должны были провидеть, судя по ее словам о них.

И как же горько мне думать об одной не встрече (горечь прямо до спазма!). Дочь Марины Ариадна Эфрон описала в эссе “Самофракийская Победа” встречу Цветаевой в Париже с Аветиком Исаакяном и их общий поход в Лувр к Нике Самофракийской. “Настоящий горный поэт”, сказала об Исаакяне Цветаева. Понятие “горный” было в ее устах высшим

определением поэта. Она и сама была горным поэтом. Я бы даже сказала, — высокогорным.

Так вот, когда Цветаева возвратилась на родину и у нее было еще целых два года (1939-1941), в которые она почти уже не писала, а только переводила (скажем, блистательно блистательного же Лорку, отказываясь — при ее нищете! — от плоских подстрочников многих “национальных” поэтов), как жаль, что ей не предложили подстрочники Аветика Исаакяна. Ведь она так нуждалась в хороших стихах для перевода. И он нуждался в переводчиках высокого класса. Жаль, что эти две нужды не встретились. Тогда к гениальным девятнадцати переводам Блока из Исаакяна мы приедем сегодня еще и гениальные переводы Марины Цветаевой. Исаакян ей, по-моему, очень понравился бы, как и Блоку (“питательный” поэт).

И раз уж я коснулась Ариадны Эфрон, расскажу еще вот о чем. Это был обычный московский августовский день — в меру хмурый, в меру напоминающий о близкой осени. Жизнь моя, всегда складывавшаяся нелегко, стала в те годы уже совсем скитальческой и одинокой. Как-то я остановилась у стенда с “Литературной газетой” и окинула взглядом первые полосы. Маленькая, набранная густым шрифтом заметка пронзила меня: “Утром, 26 июля 1975 года, умерла в тарусской больнице Ариадна Сергеевна Эфрон... Друзья похоронили ее на тарусском кладбище, на высоком берегу Оки...” Газета была недельной давности, около нее уже не останавливались прохожие. Дальше я не читала. Ища уединения, я прошла за ограду в небольшой скверик Дома журналиста и, не в силах сдержать себя, заплакала. Я плакала о смерти человека, которого никогда не видела, но который связал всех нас с той жизнью, которую все мы утратили вот в такой же августовский день 1941 года, когда мир стал меньше на целую Марину Цветаеву. Умерла та самая Аля, которая когда-то сопровождала грустные годы Марины в эмиграции, которая девочкой бродила с матерью и Андреем Белым в одиноком для обоих русских поэтов Берлине. Аля, которой выпала нелегкая и изувеченная судьба. Мир праху твоему, замученная жизнь!

И все, словно по какой-то роковой случайности, ушли из жизни в конце лета. Мать Марины умерла в Тарусе в августе 1906 года, сама Марина 31 августа 1941 года, теперь Аля в той же Тарусе в последних числах июля.

*Так, когда-нибудь, в сухое
лето, поля на краю,
смерть рассеянной рукою
снимет голову мою...*

(Марина Цветаева)

“...уж не я увижу твой могучий поздний возраст”. Марина эти Алины годы не увидела. Увидели мы. Как в свое время и мать Марины не увидела лучших лет дочери – великого поэта Марины Цветаевой.

Потом уже, спустя много дней, зайдя как-то по делу в секцию переводчиков Союза писателей и склонившись над секретаря, я вдруг случайно увидела зачеркнутую строку в большой книге учета. Там среди прочих значились имя, отчество и фамилия Али, ее домашний телефон и адрес. Помню только, что улица была, кажется, Красноармейская. Все было вычеркнуто навсегда. Человек ушел из жизни.

Было горько и жутко, и в мозгу стояла лишь фраза все и за всех сказавшего Шекспира? “Распалась связь времен”.

Да, это была последняя нить. (И какой же талантливой оказалась и дочь!). Это была как бы часть плоти Марины, ее крови, часть той великой и прямой души, которую ждать теперь миру еще долго.

Нелегкие судьбы нелегкого века. Благословенного века, способного на такое созвездие.

Марина Неотцветаева. След восторга на горестной земле.

*Есть боль одна – из тех, что нет острей,
из тех, которым нет вовек забвенья.
Чем дале дни, тем все больней, больней,
и нет ей ни конца, ни утоленья.*

*Есть боль России, также и моя,
безвинная вина моя и горесть.
Живет в трехпрудном ясная семья –
так безмятежно начиналась повесть.*

*И девочка с зеленой ширью глаз,
и девочка с душою – нет огромней –
так вольно эта участь началась,
чтоб становиться все больней, бездомней.*

*Упрямство незаемного ума,
широкий жест Всесильной длани Бога –
потом была чужбина и сума
и вечная несытая дорога.*

*Все одарить, воздать, воздать, воздать!
Всех отогреть прекрасным жаром сердца!
Кто ж ей воздал? Здесь надо помолчать.
И никуда от этого не деться.*

*И тот последний свет земли родной,
то возвращенье к дальним далям русским...
То страстное — покой, покой, покой!
Родимый дом, читатель не фразизский!*

*И тот строптивый запредельный рок,
та — все отнять! — небес крутая воля.
Елабуга — последний твой порог
в последней, меру позабывшей, боли.*

*И на бумагу нанесла рука,
что так прощаться с жизнью — только
птице...*

*Из родников твоих нам пить века
и досыта вовеки не напиться.*

(автор)

Минули уже десятилетия с тех пор, как моему поколению возвращен Серебряный век. Раньше других пришли к нам Марина Цветаева и Михаил Булгаков. Хлынули ее стихи (небывалые), ошеломила ее блистательная проза, в том числе и литературные портреты. Как напитало всё это журналы застоя и сколь мелок рядом с тем сегодняшний литературный улов толстых журналов с их сжавшимися тиражами. То-то урок: время всякой вещи под солнцем. Однако и наша эпоха может отыскать свою мощь: то было первое знакомство, сегодня наступило время зрелого осмысления. Тогда, кинувшись в кипучий поток, накрывший нас с головой, мы наслаждались безоглядно, мало заботясь о том, чтобы не утратить из вида берег. Ничего сдерживающего и отрезвляющего! Нас увлекали музыкальная и интеллектуальная стихи. Что и понятно: нас долго (почти все советские десятилетия) держали без Слова. Сегодня пришла пора уже не просто влюбленности, но любви. Вдумчивей относимся мы сегодня к тому, что когда-то пылко приняли. Жара любви не стало меньше, но и некий пережест субъективизма Серебряного века стал не просто виден и ошутим, но осознается ныне как те недостатки, которые суть продолжение достоинств. Русский Серебряный век, мне кажется, можно сравнить с увлечением импрессионизмом (хотя сравнения и хромают). и, что характерно, Сезанн хотел придать импрессионизму прочность.

И все-таки — век Золотой несмотря на всю неслыханность и запредельность стиля Серебряного века, так и остался золотым. И ныне нас как и после обморочного увлечения импрессионистами потянуло обратно к классике.

Меня поражает то, как точно предрекла судьбу всего написанного ею Марина Цветаева. Да, поэт – всегда пророк, но чтобы такая ошеломляющая точность... “Моим стихам будет хорошо”. Сознать это в момент, когда эпоха сомкнула тьму над ее головой (“тьма накрыла Ершалаим”), когда судьба не то что поэзии, но даже и судьба целой страны (да и всего европейского мира) были не слишком ясны! Да уж, действительно, – “через головы поэтов и правительств” (Маяковский).

Сколько за эти десятилетия было написано книг, исследований, воспоминаний, статей и монографий о Марине Цветаевой! И эта лавина все растет. Вот она заразительность любви, заразительность потрясения словом. И как жаль, что столь скромно стоит в стороне от этой литературоведческой лавины, скажем, Андрей Платонов, по дару (гению) абсолютно сравнимый Марине Цветаевой, но по магнетизму, обаянию, конечно, несколько уступающий ей. Платонов – писатель более великий, чем Набоков, но и здесь шаманский стиль Набокова, большие гипнотические глаза набоковской прозы – ну куда бедному читателю деться! Как не влюбиться, как не кинуться безоглядно в поток. И Справедливость одиноко и скорбно стоит на берегу, глядя вслед уплывающим... Посмертная слава часто столь же несправедлива, как прижизненная. Ну что ж, значит нужно, чтобы еще прошли времена.

Я была бы счастлива сказать, что уровень самого предмета исследования определяет и уровень исследователя. Говорят, ум притягивает ум. Идеальное и строгое соответствие – как это было бы прекрасно. Но, увы, уровень иных размышлянтов последнего десятилетия о Цветаевой приводит в священный ужас. Залезли даже в ее постель (это ведь легче, ибо ее “мятежный карандаш” им не по зубам). Как говорится, ни любви, ни дара, а уж о полной, тем более тайной свободе не приходится и говорить. Полную свободу они понимают как-то дурно, путая ее с полной разнузданностью и желтизной. Полное забвение принципа – кто, о ком и как. Никакой благородной попытки сорабности встречи высот. Особенно у эккерманш.

“На полной свободе любви и дара”. Ныне на каждом шагу только и слышишь – гений, гений. Слово это совершенно затерли, я бы даже сказала – затоптали. Цветаева же любила слово “дар”. Трудно не разделить это ее пристрастие, этот точно расслышанный ею (а что она не слышала точно?) смысл. Потому ли, что сама любила дарить, понимая, какая это сила – протянутая с даром рука Бога? Да, от избытка силы, от избытка сердца только и возможен дар. Но кроется

тут и еще один очень важный оттенок: право раздачи. Право, даруемое не всем. Высокое своеволие – так определила бы я это редко даруемое Богом право, которым Марина Цветаева божественно же и пользовалась. “Верно и спорно, но оспорить могла бы только я же” (Марина Цветаева). Ее мемуарно-портретная, а затем литературно-аналитическая проза (черпала уже широко), даже просто отклики на чью-то кончину взошли всё из того же властного права: “Из любящих только я смогу. Потому и должна”.

Один из мемуаристов высказался о Цветаевой так: “Хороша, по снимкам судя, она не была и в юности”, теперь же “вид у нее был усталый и скорее тусклый. Держала она себя просто, приветливо и скромно. Говорила грудным своим голосом сдержанно и тихо”. “Кстати, о снимках, – читаем у литературоведа Татьяны Геворкян, – не знаю ни одного цветаевского снимка (включая и серию качественных парижских фотографий 1925 года), равно как и художественных портретов, которому душа откликнулась бы узнаванием. И дело тут не в красоте. Мне кажется, что от ранних фотопроб “цветаевское” ускользало оттого, что на лице надолго задержалась юношеская неопределенность линий и черт, тогда как внутри все очень скоро, чтоб не сказать изначально, определилось, оттого, что внешность не поспевала за духом, лицо – за личностью”. “Итак, фотографии уклончиво молчат, а точнее, говорят всякий раз разное и всякий раз не совсем то”.

Обратила я внимание и на то, что в цитируемой в книге статье Маяковского возникает фамилия Асеева. Казалось бы, малоприметный факт. Но... Маяковский, сгоряча и несправедливо: “Книжный продавец должен еще больше гнуть читателя. Вошла комсомолка с почти твердым намерением взять, например, Цветаеву. Ей, комсомолке, сказать, сдувая пыль со старой обложки, – Товарищ, если вы интересуетесь цыганским лиризмом, осмелюсь предложить Сельвинского. Та же тема, но как обработана! Мужчина! Но это все временное. Поэтому напрасно в вас остыл интерес к Красной Армии; попробуйте почитать эту книгу Асеева”. Цветаеву этот выпад Маяковского очень огорчил, что и понятно. Правда, ее собственные характеристики Маяковского тоже способны вызвать оторопь да еще какую. А уж ее слова о Есенине огорчают так, что не скоро еще приходишь в себя. “У Есенина был песенный дар, а личности не было. Его трагедия – трагедия пустоты. ...Пустота иногда полна звуками. Вот Есенин”. И написано это не в пору есенинского начала, а в 1927 году, то есть уже после смерти поэта. Открываю книгу стихов Есенина. 1925 год, последний год его жизни. Стихи –

сплошные шедевры. Целый последний год ничего кроме шедевров. Нет, пустота полна все же другими звуками. Не могла же Марина Ивановна страдать эстетической, музыкальной глухотой. Ведь вся страна сразу пела любой его стих. И сейчас поет. И всегда будет петь. Вот самое сердце поэзии — мгновенное запоминание. Других поэтов страна пела, мягко говоря, не часто... Не успевал Саади раскрыть рот — как неграмотные (!) слушатели тут же заучивали бейт и уносили его с собой, врезавшись в память навечно.

Справедливости ради надо сказать, что и о самой Марине Ивановне некоторые серебряновековцы высказывались весьма беспардонно. “Я антицветаевец”. Это Мандельштам. Он ставит рядом с Цветаевой поэтесс Анну Радлову и Софью Парнок, пишет, что стихи Цветаевой о Москве “неизмеримо ниже стихов Адалис, чей голос подчас достигает мужской силы”. Анна Ахматова высказалась в том смысле, что Марину на три версты нельзя подпускать к Пушкину, она в нем не смыслит ни звука”. Пастернаку Цветаева сама писала с горечью: “Б.П., Вы посвящаете свои вещи чужам — Кузмину и другим, наверное. А мне, Борис, ни строки. Впрочем, это моя судьба: я всегда получала меньше, чем давала”. Да-с. Небольшое головокружение и легкая оторопь читателю обеспечены. И это еще только часть жалающих стрел. Особенно хороша Ахматова — не подпускать, не разрешать, держать за руки... И по поводу чего — по поводу бессмертной эссеистики Цветаевой о Пушкине. Тесно им было, что ли? И то сказать — столько талантов (и каких талантов!). Вот он — Серебряный век. То ли дело сейчас... Полная пустота. Исследователю очароваться нечем...

Но я, собственно, хотела сказать об Асееве. Дважды возникал он в судьбе Марины Ивановны. Первый раз еще при жизни Маяковского в процитированной статье последнего. Второй раз — в самый последний день жизни Цветаевой — 31 августа 1941 года, когда она написала предсмертную записку: “Николаю Асееву. Извините — не вынесла” (Асеев тогда возглавлял писательскую группу в Чистополе). Бывают странные сближенья... Прочитав огорчившие ее слова Маяковского, Цветаева тогда вряд ли обратила особое внимание на фамилию Асеева. Могла ли она тогда знать... К чести Николая Асеева надо сказать, что он замаливал свой грех перед Мариной Цветаевой все свои последние годы в маленьких церквушках в Прибалтике. Хотя другие были виноваты перед ней во много раз больше, чем он. Да уж, вещество совести отпущено людям в разных дозах.

Чистополь и Елабуга. кормились не только писатели, но и сотни родственников писателей. А ей было отказано и в

тарелке супа... Да и разве только эти противные и случайные люди... А супруг ее Сергей Эфрон, завербовавшийся в НКВД – разве имел он моральное право на такой шаг? Губить великого поэта, жившего рядом с ним, да и всю семью?

Эмигрантская публика, увы, тоже внесла свою лепту в то, чтобы Марина Ивановна была “одна голая душа, даже страшно” (как кто-то сказал о Цветаевой). От судеб защиты не было. “На мои рядовые вечера – ...годы подряд приходили все те же... Моя внешняя литературная неудача – в выключенности из литературного круга, в отсутствии рядом человека, который бы занялся моими делами.

Внутренняя – нет, тоже внешняя! – ибо внутренние у меня были только удачи – в несвоевременности моего явления – что бы на двадцать лет раньше.

...А содержания моего она [эмиграция] из-за гомеричности размеров – не узнала. ...Еще – в полном отсутствии любящих мои стихи: некому прочесть, некого спросить, не с кем порадоваться! Все (немногие) заняты – другими. В диком творческом одиночестве!”

*В моей руке почти что горстка пыли –
Мои стихи.*

“Внутренние у меня были только удачи”. Не боялась написать, ибо наперед всё знала точно. “Я это говорю из будущего”. Она была из тех, для кого свершено всегда означало – сделано совершенно. Совершенно совершить – вот ее девиз.

В 1931 году она писала: “В конце концов, я не могу ехать в Россию ... там они будут иметь удовольствие ... прикончить меня”. “И там мне не только заткнут рот непечатанием моих вещей – там мне их и писать не дадут”. “Безродность, безысходность, безраздельность, безмерность, бескрайность, бессрочность, безвозвратность, безоглядность – вся Россия в без”.

Куда ехала – знала. И перед отъездом (в 1939 году) написала в одном из писем, что хотела бы быть поэтом маленькой страны. Увы! И это не спасает.

*Когда мой дар стал необъятен,
Не нашлось страны, вмещающей меня.
Когда возросла моя цена,
Не нашлось на меня покупателя.
(Ибн-Сина)*

Способность ко все новым и новым взлетам духа никогда не изменяла Марине Цветаевой. Но что новое и еще более

зрелое могло бы последовать за ее обобщающими литературно-аналитическими статьями? И почему беспрецедентные переводы (Переводы? Смешное слово для такого неслыханного дарения, ведь перевела безмерно обогатив) из Бодлера и Лорки должны были венчать массив всего написанного ею? Есть ли здесь тайный знак?

Некое иссякание великой реки чувствовалось по этим уже редким, но, правда, все еще вершинным толчкам... Еще оставались дни на земле, а написанное прежде (даже и вчера) уже ощущалось как ценность – это при ее-то безоглядности! Знак, о многом говорящий... Угасающий мир в лучах рабочей лампы... Уставал вьючный мул – гений. Дар, как река, иссякал. Затухал. Еще сочились капли. Великие, полные прежней энергии капли. Теперь уже больше похожие на слезы (“Где алебастрам духа, застыв, становятся слезы”, Лорка). И только ей одной была видна рассеивающаяся над Ершалаимом тьма: “Моим стихам будет хорошо”.

Невольно на ум приходит: “Часть меня лучшая избежит похорон” (Гораций). Или если угодно: “Нет, весь я не умру. Душа в заветной лире...” (Пушкин). А то и:

После вас
осталось тридцать свитков.
Все они –
Звон золота и яшмы.
Там, в Лунмыне
под холмом могильным
Ваши кости –
Слава ж не зарыта
(Бо Цзюй-и)